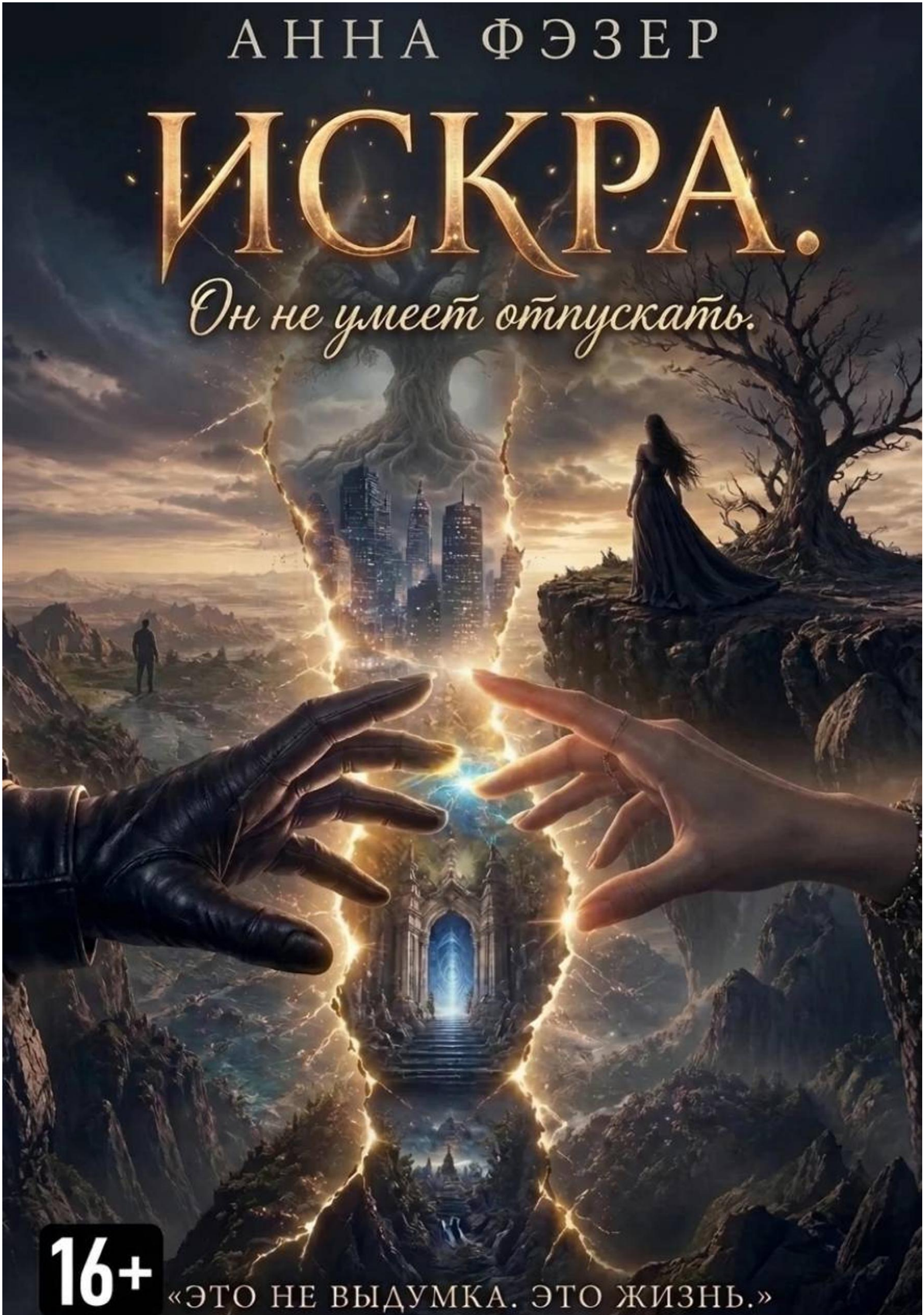
АННА ФЭЗЕР

ИСКРА.

Он не умеет отпускать.



16+

«ЭТО НЕ ВЫДУМКА. ЭТО ЖИЗНЬ.»

Анна Фэзер

Искра

«Автор»
2026

Фэзер А.

Искра / А. Фэзер — «Автор», 2026

Это не выдумка. Но и не вся правда.Яна Сорокина с детства видела то, чего не видели другие. Жёлтые глаза в щели между шторой и стеной. Домового, который прячет паспорт в морозилку и складывает фантики в стопочку. Шёпоты в пустых углах. Сны об усадьбе, где её зовут чужим именем — Элеонор.Она научилась молчать. Быть как все. Не выделяться. Пока в её сны не вошёл он.Киан. Древний страж. Его прикосновение убивает всё живое. Он пахнет озоном и гарью. Он не умеет отпускать. И он ждёт её — двести пятьдесят лет.У Яны есть выбор: обычная жизнь. Тёплые руки. Человек, который пахнет деревом и не задаёт лишних вопросов. Или — холод. Тьма. Любовь, которая не спрашивает разрешения.Но чем ближе она подходит к разгадке, тем яснее понимает: выбор — не между мужчинами. Выбор — между жизнью, которую можно потерять, и памятью, без которой всё станет пеплом.«Дорогие читатели, мне очень важна ваша поддержка и обратная связь. Если вам понравится история, буду рада вашим отзывам!»

© Фэзер А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог 5
Глава 1 6
* * * 8
* * * 10
* * * 11
Глава 2 13
Глава 3 15
* * * 18
* * * 22
Глава 4 24
Глава 5 27
Конец ознакомительного фрагмента. 34

Анна Фэзер
Искра

Пролог

Это не выдумка. Но и не вся правда.

Правда — как Древо: корней не видно, крону не объять. Я расскажу столько, сколько смогу. Остальное вы узнаете сами. Если захотите. Если выдержите. Если не испугаетесь того, что живёт в тенях. И того, что живёт — в вас.

Древо растёт в параллельном мире. Его ветви соединяют все миры и реальности. Листья — память. Оно держит баланс энергий и магии. Оно почти сухое. Потому что связано с ним. С тем, кто не может отпустить. С тем, кто убивает его каждым прикосновением. Каждым днём. Каждой ночью. И — умирает сам. Вместо него.

Если вы не верите в магию, в домовых, в людей без лица, от которых пахнет озоном и гарью, и в деревья, которые держат миры, — закройте эту книгу. Вам будет страшно. Или смешно. И то, и другое — защита. Но если останетесь — знайте: это жизнь. Моя жизнь. Та её часть, что пряталась в тенях сознания, шепталась в тишине ночей, являлась в снах — слишком ярких, чтобы быть просто снами.

Я долго бежала. От видений. От голосов. От знания, которое приходило ниоткуда. Но правда, однажды увиденная, не исчезает. Она ждёт. Как спящий вулкан под зелёными склонами. Как тень в углу. Как сон, который сбывается.

Я пишу, потому что пришло время. Время перестать бояться. Время вернуть то, что отнял страх. Время понять, кто я.

Это история о девочке, которая видела то, чего не видят другие. О женщине, которая выбирала между обычной жизнью и древним наследием. О матери, которая отдала всё, чтобы защитить дочь. И о любви, которая пережила смерть — и вернулась. Не один раз. Не два. Столько, сколько нужно. Чтобы — найти. Чтобы — выбрать. Чтобы — не отпустить.

Я — та, кто помнит. Та, кто светит. Я — Искра. И это моя история.

Глава 1

Кровать была слишком большой. Ноги не доставали до края — я тянулась, пробовала, но пятки всё равно висели в пустоте. Я лежала на спине и смотрела в потолок, который уходил вверх, в бесконечность. Голова горела. Руки казались чужими. Ангина. Температура под сорок два.

Я помню не боль. Помню жар. Он был живым: заползал под кожу, в кости, в мысли. Комната плавилась по краям, как свеча. Стены дышали — медленно, тяжело. Потолок опускался. Простыни промокли от пота насквозь. Подушка раскалилась, как печная вьюшка. В горле першило, будто я наглоталась песка. Пить хотелось нестерпимо, но сил не было даже повернуть голову. Я могла только смотреть в щель между шторой и стеной. Туда.

Надо мной стояли врачи. Двое. Смотрели поверх очков. Говорили тихо, но сквозь жаркий бред я слышала каждое слово отчётливо, будто они шептали прямо в ухо.

— Если к утру не спадёт… — вздохнул один. У него были усы. Седые, с желтизной в уголках рта. Он, наверное, пил растворимый кофе из автомата по ночам. Горькую жижу, которая въедается в усы желтыми пятнами.

— …не выживет, — закончил другой.

Слова повисли в душной комнате. Тяжёлые. Липкие. Как мокрая ткань.

Родители ушли за последней надеждой — каким-то редким лекарством. Мама поцеловала меня в лоб. Её губы были сухими и горячими. Она плакала — я видела блеск в её глазах, хотя она отворачивалась. Отец молчал. Он всегда молчал, когда было страшно. Просто стоял в дверях, смотрел на меня, и в его глазах было что-то, чего я не понимала. Дверь закрылась. Я осталась одна.

В бреду комната жила своей жизнью. Тени на стене шевелились, сливались в чужие очертания. Я смотрела на них сквозь мутную пелену жара и не понимала: это стены двигаются или моё сознание плывёт? Где заканчиваюсь я и начинается бред? Где моя рука, а где тень от занавески? Где потолок, а где дым?

И тогда я их увидела.

В щели между плотной шторой и стеной горели два огромных жёлтых огня — круглых, как блюдца, до краёв наполненных мутным светом. Они не мигали. Смотрели не на комнату, а на меня — сквозь паклю длинных соломенных волос, что свисала по краям щели.

Стужа, острее лихорадки, пронзила меня. Не от сквозняка. Изнутри. Будто что-то ледяное прошло сквозь тело от макушки до пяток и осталось там, вросло в кости. Сквозь пересохшие, потрескавшиеся губы вырвался хриплый шёпот:

— Кто… ты?..

Ответа не было. Но в этом молчании, в этом нечеловеческом взгляде было знание. Древнее, чем пыль на забытых вещах.

Домовой.

Слово всплыло из глубины памяти. Из бабушкиных полузабытых сказок, которые она рассказывала перед сном, а потом сама отмахивалась: «Глупости. Не слушай. Спи». Я не знала, что оно значит. Но от этого слова почему-то стало не так страшно. Будто я встретила того, кого давно ждала. Того, кто был здесь всегда. Просто я его не видела.

Огни исчезли так же внезапно, как появились. Будто их и не было. Только пустая щель. Только мой хриплый выдох.

А утром градусник показал тридцать семь и два. Врачи разводили руками, бормоча о «кризисе» и «счастливом случае». Тот, с усами, качал головой и смотрел на меня так, будто видел впервые. Мама плакала и смеялась одновременно — я помню, как она прижимала меня к груди, и от неё пахло валерьянкой и чем-то ещё, тёплым, родным. Отец стоял у окна, смотрел

на улицу и молчал. Я лежала в кровати, слабая, как новорождённый котёнок, и смотрела в щель между шторой и стеной. Там было пусто. Но я знала: оно вернётся.

С того дня в углах моего зрения, в тишине опустевшей комнаты поселилось ощущение незваного свидетеля. Оно было здесь. Не всегда. Но часто — когда становилось тихо.

То, что я видела в щели, — не единственное. Есть другое. То, что стало приходить во снах. То, что ждало. То, что не показывалось. Пока.

И началось это с той ночи. В пять лет — когда граница между мирами ещё тонка, как паутинка, и разум ещё не научился отсекать невозможное. Тогда я не знала слова «невозможное». Я просто видела. Слышала. Чувствовала.

Я была просто ребёнком. Я ошибалась. Во всём.

* * *

С рождением брата в квартире стало тесно.

Тесно — не только от детских вещей. Пелёнок, бутылочек, погремушек, коляски в прихожей. Коляска стояла там, как чужой зверь, и я каждый раз задевала её локтем, когда выходила. Появилось что-то ещё. Невидимое. Но навязчивое. Как запах старого дерева, который не выветривается, сколько ни проветривай. Как сквозняк, которого не найдёшь — ищешь-ищешь, а он всё равно где-то ходит. Как тень в углу, которую видишь лишь боковым зрением. Стоит посмотреть прямо — и нет её. Отведёшь взгляд — и она снова там.

Первыми заговорили стены по ночам. Вернее, не стены — кухонный советский гарнитур. Старый, тяжёлый, с дверцами, которые когда-то были белыми, а теперь стали цветом старого зуба. Его дверцы с тихим скрипом открывались сами собой. Медленно. Осторожно. Кто-то невидимый искал что-то внутри. Перебирал банки с крупами — я слышала, как звякает жесть, как шуршит полиэтилен. Заглядывал в шкафчики. Ложки в стакане начинали позвякивать от лёгкой дрожи. Невидимая рука трясла стакан. Иногда с глухим стуком падала картина в прихожей. Всегда посреди ночи. Всегда, когда все спали. Наводя на всех леденящий ужас. Мама вскрикивала. Отец просыпался и долго смотрел в потолок. Брат плакал. А я лежала и считала удары сердца, пока стук не стихал.

— Слышали? Опять! — шептала мама отцу. Она прислушивалась к тишине после ночного стука. Смотрела в темноту широко открытыми глазами. Я видела, как она сидит на кровати, сжав одеяло у горла.

— Старый дом, — отмахивался отец. Глубже зарывался в подушку. — Оседает. Сквозняк.

Это не сквозняк. И это не домовой. Я не знала, что это. Но оно выбрало меня.

Я не говорила этого вслух. Кому? Маме, которая не спала ночами с братом? Отцу, который работал на двух работах? Нет. Я молчала. И наблюдала.

А потом это началось по-настоящему.

Одеяло сползало с меня ночью. Не падало — тянулось вниз. Медленно. Осторожно. Невидимая рука брала край ткани и тянула. Я куталась, подтыкала края под матрас — так, что пальцы ныли. Но к утру всё равно просыпалась замёрзшей. Ноги ледяные. Плечи дрожат. Одеяло — на полу. Ровно сложенное. Аккуратно. Его не сбросили — сняли.

— Мам, — говорила я утром, — у меня одеяло опять упало.

— Подними и ложись, — отвечала мама, не оборачиваясь от плиты. Она жарила яичницу, и масло шипело на сковороде. — Сама виновата. Крутишься во сне.

Я не крутилась. Я знала, что не крутилась. Но доказать не могла.

Потом — резкий толчок под бок. Не сильный. Но неожиданный. Я летела с кровати вниз, в темноту, в холод. Сердце замирало где-то в горле. И — падала мягко. Невидимые руки подхватывали меня в последний момент. Ни синяка. Ни царапины. Только холодный пол под босыми ногами и бешено колотящееся сердце. Только темнота, в которой ничего не видно.

— Мам! — всхлипывала я утром, прибегая на кухню. — Меня опять скинули! С кровати!

Мать, кормящая брата, даже не поворачивалась. Она держала его на руках, и он чмокал, и от него пахло молоком и чем-то тёплым.

— Опять тебе приснилось, дочка. Иди кашу съешь.

Но я знала. Не приснилось.

Однажды ночью это стало невыносимым. Я проснулась от ужасающего чувства — на груди сидела тяжесть. Невидимая. Но каменная. Грудная клетка не слушалась. Воздух не входил в лёгкие. Я пыталась вдохнуть — и не могла. Паника! Я пыталась закричать — и лишь слабый стон вырвался из пересохшего горла. В кромешной темноте надо мной, чуть темнее самой

тьмы, висела расплывчатая тень. И в ней горели те самые жёлтые точки. Не блюдца теперь — просто точки. Но такие же бездонные. Такие же чужие.

Я не могла пошевелиться. Не могла дышать. Не могла кричать. Лежала неподвижно, смотрела в эти жёлтые точки и чувствовала, как что-то — невидимое, древнее — входит в меня. Не в тело. Глубже. В память. В кровь. В то, что я не знала о себе.

Позже, много лет спустя, я узнаю название — сонный паралич. Но тогда это было просто Оно. И Оно душило.

Я думала, это домовой. Но жёлтые глаза были не его. Другие. Холоднее.

Проверял — выдержу ли. Сломаюсь ли. Пойму ли.

Я выдержала. Не сломалась. И — поняла. Не тогда. Позже. Но поняла. Домовой не был врагом. Домовой был стражем. А стражи не спасают. Они испытывают.

* * *

Потом пришли шёпоты. Не в ушах — где-то за спиной. В пустом углу комнаты. Когда я делала уроки. Когда читала. Когда просто сидела и смотрела в окно. Тихие. Сливающиеся в неразборчивое шипение. Как помехи на старом радио. Как ветер в трубах. Слова улавливались обрывками. Бессмысленные. Пугающие. Они звали меня по имени. «…Яна твой…», «…здесь…», «…твой…», «…скоро…»

Я оборачивалась. Угол был пуст. Тени, пыль и тишина, которая звенела в ушах.

Однажды, когда шёпот стал особенно навязчивым, заползая в голову, как холодные мурашки, я не выдержала. Сжав кулаки, резко обернулась к пустому углу и прошипела сквозь зубы — как научилась у старших мальчишек во дворе:

— Отстань! Иди к чёрту!

Шёпот стих. На мгновение. Потом возобновился. Тише. Но насмешливее. Невидимый, древний — улыбнулся.

Домовой, тот самый, с жёлтыми глазами, наблюдал со стороны. Он почти не трогал родителей. Не трогал младенца-брата. Разве что иногда, ночью, когда мама дремала в кресле, что-то лёгкое гладило её по волосам — медленно, осторожно, будто проверяя, здесь ли она. Мама списывала это на сон. А его проделки были другими — находил или прятал вещи. Иногда тихо ворчал в углу моей кровати, скрипел половицей, стучал по трубе. Иногда — один раз. Иногда — два. Будто бы говорил: «Я здесь. Я рядом. Я вижу». Но не говорил. Только скрипел, стучал.

Но новое Оно… интересовалось только мной. И с каждым днём его внимание становилось всё тяжелее. Всё опаснее. Всё ближе.

* * *

Брат подрос. Нам купили двухъярусную кровать.

Я спала наверху. Брат — внизу. Маленький, тёплый, сопящий. Я любила слушать его дыхание. Оно было живым. Настоящим. Не как шёпоты в углу.

Одеяло продолжало сползать. Но теперь я знала, что это не сон. И не кручение. Я просто поднимала его и ложилась снова. Молча. Без слёз. Домовой проверял — а я уже не боялась. Привыкла.

Но потом началось другое.

Однажды ночью я проснулась от резкого, грубого толчка в плечо. Не сонный паралич. Не кошмар. Реальная рука. И голос, прозвучавший внутри черепа. Ледяной и непререкаемо повелительный:

— Вставай! Сейчас же!

Я вскочила. Комната была пуста. Просто темнота и дыхание брата внизу. И тогда я поняла: это был не домовой. Это было Оно. Оно говорило со мной. Впервые. Не шёпотом. Не тенью. Голосом.

А через неделю упала люстра.

Средь бела дня. Когда все были дома. В зале, где мама качала брата на руках, а отец читал газету, старая люстра под потолком вдруг закачалась. Сначала едва заметно. Потом всё сильнее. С противным скрипом растяжек. Я уставилась наверх. По спине побежали мурашки. Холодные. Липкие. Ледяной палец провёл по позвоночнику.

И прежде чем кто-то успел что-то сказать или сделать — с резким звоном разбивающихся подвесок и грохотом люстра всей своей тяжестью рухнула на пол. В центр комнаты. В пыль. В осколки. Хрусталь разлетелся по всему залу. Невидимая рука швырнула её вниз. С силой. С яростью.

— Боже мой! — вскрикнула мама. Инстинктивно прикрыла младенца. Прижала к груди. Закрыла собой.

Отец резко вскочил с кресла. Отшвырнул газету. Осмотрел место падения. Потом поднял голову к пустому потолку. Где торчали оголённые провода. Где не было ничего. Никого. И вдруг… рассмеялся. Громко. Нервно. Облегчённо.

— Ну надо же! — Он махнул рукой. Отгоняя муху. — Видать, наш домовой решил прогуляться по залу! Прошёл, значит. Сильно топает, негодник!

— Господи, испугал ты нас! — вздохнула мама. Уже успокаиваясь. Её взгляд скользнул по мне. — Хорошо, что никто не стоял под ней. И что гости не нагрянули бы в этот момент…

Я не смогла произнести ни слова. Меня била мелкая дрожь. Руки тряслись. Зубы стучали. Я смотрела на осколки хрусталя. На погнутые металлические прутья. На пыль, которая медленно оседала в воздухе. И думала: это не домовой.

Домовой ворчал в углу моей кровати по ночам. Находил потерянные вещи. Скрипел половицами. Стучал по трубам. Но он не устраивал таких разрушений. И уж тем более — средь бела дня. При всех. При родителях. При брате.

Оно было здесь. И Оно больше не пряталось в темноте. Оно хотело, чтобы я видела.

Но было и другое. То, что я почувствовала лишь на миг. Когда люстра ещё качалась — до того, как сорвалась. В этом хаосе, в этом скрежете растяжек, в звенящем напряжении воздуха — чей-то взгляд. Не домового. Что-то новое. Холоднее. Разумнее. Он не пугал. Он наблюдал. Изучал. Запоминал.

Я обернулась. Никого. Лишь родители, брат и осколки.

Но взгляд остался. Застрял где-то под кожей. Как заноза. Как предупреждение.

Эта мысль была холоднее сонного паралича. Холоднее жёлтых глаз. Потому что жёлтые глаза-блюдца — это домовой. А домовой — страж. Он проверяет. Он испытывает. Но он не убивает. А это… Это было другое. Это было Оно. То, что приходило из снов. То, что ждало. То, что не показывалось. Пока.

Я посмотрела на угол. Пусто. Только тени. Пыль. И тишина, которая звенела в ушах. Но я знала: Оно здесь. Смотрит. Ждёт. Набирает силу. И уже не боится свидетелей.

В тот вечер я долго не могла уснуть. Лежала на верхнем ярусе кровати. Смотрела в потолок. Слушала, как мама укачивает брата — она пела ему что-то тихое, без слов, и от этого пения в груди становилось теплее. Как отец ворочается на диване. Как домовой скрипит половицей в углу. Я знала: он рядом. Проверяет. Ждёт.

А где-то за стенами квартиры, за окном, за пределами того, что я могла видеть и понимать, — Оно тоже ждало. Терпеливо. Вечно. И я знала: однажды оно вернётся. Не люстрой. Чем-то другим. Чем-то худшим.

Но пока — я была просто девочкой. С осколками хрусталя на полу. С дрожью в руках. Со знанием, которое не могла никому рассказать. И с домовым, который проверял. Терпеливо.

Глава 2

Я была обычной девочкой. По крайней мере, так казалось со стороны.

Яна Сорокина. Серая кофта. Три слова в ответ. Всё как у всех.

Только глаза — не как у всех. Зелёные. Не голубые, не серые. Зелёные. Как лесная тень. Как мох на старом камне. У всех моих родных глаза голубые: у мамы, папы, брата, бабушки. А у меня зелёные. Я не знала, в кого пошла. Никто не знал. И никто об этом не говорил. Просто смотрели. И отводили взгляд.

Мама говорила: «Генетика. Бывает». Бабушка говорила: «В прадеда. Наверное». Папа молчал. Как всегда.

Потом я узнала. Но не сразу. Позже. Когда вспомнила. Когда поняла. Что глаза — это не генетика. Глаза — это кровь. Метка. Знак. Тот самый. Древний.

Да, я казалась нормальной. Школа. Споры с братом из-за пульта. Уроки. Иногда. Чаще я открывала тетрадь, смотрела на строчки, и мысли утекали в сторону, как вода в песок. Я мечтала о море — не о Турции или Египте, а о том, где вода холодная и пахнет солью, йодом и гниющими водорослями. И о щенке. Обычном. Лохматом. Чтобы грыз тапки.

Родители говорили: «Потом». Потом — это когда переедем, когда брат подрастёт. Обещали, и всегда находили новое «потом».

Я бегала по лужам в резиновых сапогах — красных, с белой подошвой, которые вечно текли у правой пятки. Боялась темноты в подъезде. Особенно той секунды, когда лампочка на первом этаже мигала и гасла, оставляя тебя в глухом чёрном вакууме, где слышно лишь собственное дыхание, а где-то наверху скрипят половицы — сосед идёт, но ты всё равно считаешь до десяти, прежде чем шагнуть.

Я умела быть незаметной. Это было моё главное умение — быть как все. И оно стоило мне дороже, чем я тогда понимала.

Я знала, какую кофту надеть, чтобы слиться со стеной школьного коридора. Серую. С длинным рукавом. Не новую, но и не старую — такую, которую никто не запомнит. Знала, какую фразу сказать, чтобы не выделиться. «Ну да». «Прикольно». «Ясно». Три слова — и ты часть фона. Знала, как улыбнуться, чтобы никто не спросил, почему у тебя дрожат руки. Улыбка — как рубильник. Щёлк — и внутри можно трястись сколько угодно. Никто не заметит.

Я научилась этому рано. Раньше, чем читать и писать. Раньше, чем понимать, что со мной что-то не так.

Дело было не в холоде. Хотя и в нём тоже. Внутри меня жил холод. Не зимний — другой, как будто кто-то отворил дверь в морг и забыл закрыть. И в этой стыни жило присутствие: тяжёлое, как старое золото в земле. Оно не грозило. Слово «домовой» тогда ничего не объяснило, но страх стал тише.

Холод приходил и уходил. Иногда — в самый разгар дня, посреди шумного класса, когда учительница объясняла теорему Пифагора. Иногда — ночью, когда я просыпалась от чужого взгляда. Не от звука — от тяжести чужих глаз на лице.

Я не знала причин. Просто чувствовала — и прятала это чувство глубоко. Под улыбкой. Под хорошими оценками. Под дежурное «всё хорошо, мам».

Но было и другое. То, о чём я не говорила никому. Никогда.

Внутри меня жила злость.

Не та, о которой пишут в книжках. Другая. Она спала где-то под рёбрами, как зверь в берлоге, и просыпалась в самые неожиданные моменты. Когда брат брал мою ручку без спроса. Когда учительница говорила: «Сорокина, ты опять в облаках». Зверь просыпался, потягивался, и в груди становилось горячо. Так горячо, что хотелось что-нибудь сломать. Разбить. Ударить.

Я не понимала природу этого чувства. Сначала думала — характер. Потом — что я плохая. Потом — что со мной что-то не так, и эту «неправильность» надо держать в клетке, крепко, двумя руками, чтобы оно не вырвалось.

Потому что когда оно вырывалось — страдали близкие. Я это знала. Я это помнила. Каждый раз, когда зверь выходил из берлоги, я потом сидела на полу в своей комнате, и меня трясло, а внутри была пустота. Такая, что хотелось закричать. Но я не кричала. Я просто сидела и смотрела в стену.

Помню, я никогда не плакала. Даже когда было очень больно. Слёзы не приходили. Будто внутри меня кто-то перекрыл кран. И это пугало меня больше, чем злость.

Я не знала тогда, что это называется «онемение». Я просто думала: я — неправильная. Я — как выключенный телевизор. Снаружи картинка есть, а внутри — глухая, мёртвая тишина.

Мама говорила, что в детстве я часто смотрела в углы. Замирала. Прислушивалась. Она думала — фантазия, впечатлительность, пройдёт.

Не прошло.

Глава 3

Ночь была обычной.

Я стояла в комнате, которой никогда не видела. Каменные стены — серые, шершавые, в трещинах, из которых сыпалась пыль. Высокое стрельчатое окно, забранное свинцовыми переплётами. Серый свет — то ли рассвет, то ли пасмурный день, который так и не решил, приходить ему или нет. Под ногами — широкие, поскрипывающие половицы. Они скрипели не как наши, дома, — не визгливо, не жалобно, а глубоко, будто вздыхали. На мне было длинное платье из грубой ткани. Серое. Неудобное. Колючее у ворота. Чужое. Но… знакомое. Я носила его всю жизнь. Оно было моей кожей. Я не помнила, как его надевала. Просто знала — оно моё. Как руки. Как дыхание.

Я смотрела вниз, на лестницу. Деревянные перила, отполированные временем до блеска, — сотни ладоней, тысячи шагов. Моя рука — но не моя. Тоньше. Бледнее. С другими линиями на ладони — лежала на этих перилах. Древесина была прохладной. Живой под пальцами. Я чувствовала каждую трещинку. Каждый сучок. Каждую царапину, оставленную чьими-то ногтями. Чьими-то — не моими.

Я спускалась. Тяжесть платья. Шелест грубой ткани вокруг ног. Каждая ступенька — со скрипом, который отдавался в коленях. Дверь была открыта. За ней — не асфальт. Не машины. Не серые панельки. А утоптанная, местами раскисшая от грязи улица. Люди сновали туда-сюда. Женщины в длинных платьях и платках — с корзинами, с вёдрами, с детьми на руках. Мужики в холщовых рубахах, подпоясанные верёвками. Босоногие ребятишки. Куры копошились у заборов — серые, взъерошенные, озабоченные. Петух орал где-то за углом — хрипло, надрывно, словно его резали. Гул голосов, скрип телеги, лай собак — всё сливалось в единый, незнакомый, но реальный шум жизни. Чужой жизни. Но — моей.

За домом, который во сне был моим домом, открывался огромный сад. Яблони, груши — ветви гнулись под тяжестью плодов. Яблоки были красные, с восковым блеском, и пахли так, что кружилась голова — сладко, тепло, солнечно. Трава под ногами была высокой, некошеной, и в ней стрекотали кузнечики. Дальше сад смыкался с тёмной стеной леса. Могучие ели и сосны. Их вершины терялись в сером небе.

И каждый раз, в какой-то момент сна, звучали слова. Жёсткие. Не терпящие возражений. Голос мужской, властный, чужой. И одновременно — до мурашек знакомый.

— …под венец на следующей неделе… Приданое готово… Нечего ныть…

Голос был как удар хлыста. Я не видела лица, только слышала. И от этого голоса внутри всё сжималось — как кулак.

Или:

— …жених ждёт… Твоя доля — слушаться…

Или просто. Ледяным тоном:

— Судьба твоя решена.

Я не хотела этого. Потому что любила его. Того, чьи глаза были тёплыми, как летнее солнце. Того, чей голос был тихим, как шелест листьев. Моё сердце принадлежало ему. Не отцу. Не будущему жениху. Ему.

Я знала это чувство. Оно жило во мне — глубоко, под рёбрами, в самой крови. Оно не было моим. Оно было её. Той, что носила серое платье. Той, что спускалась по лестнице. Той, что любила.

И тогда в груди у меня — у той, другой девушки в платье — вспыхивала дикая, отчаянная ярость. Смешанная с леденящим страхом. Нет! — кричало что-то внутри. И я бежала.

Мимо ошеломлённых служанок — они оборачивались, говорили, но я не слышала. Через кухню — жаркую, пропахшую дымом и варёной репой. Распахивая заднюю дверь. Бежала через

сад. Цепляясь длинным, нелепым подолом платья за колючие кусты крыжовника — они царапали ноги, рвали ткань. Спотыкаясь о корни яблонь — они выползали из земли, как пальцы, и хватали за щиколотки. Ветки хлестали по лицу. Волосы выбивались из косы. Запахи сада — спелых фруктов, нагретой солнцем хвои с края леса — становились гуще. Почти удушающими.

Я вбегала под сень деревьев. Темнота смыкалась надо мной. Лесной воздух — влажный, пахнущий грибами и хвоей — ударил в лицо. Я бежала, не разбирая дороги. Сердце колотилось. пытаясь вырваться из груди. Оно знало: если остановлюсь — всё кончится. Если остановлюсь — умру.

И вот он — край. Лес внезапно обрывался. Передо мной зияла пропасть. Затянутая серой пеленой тумана. Снизу доносился глухой шёпот воды — не рёв. Шёпот. Будто вода там, внизу, говорила сама с собой. За спиной — топот погони? Или просто гул крови в ушах?

Я оборачивалась. И видела дерево.

Старое. Могучее. Но мёртвое. Без листьев. Его кора была шершавой, потрескавшейся, как кора тысячелетнего дуба, обожжённого молнией. Оно стояло на самом краю. Корни, словно когти, впились в осыпающийся грунт. Ветви-когти тянулись к свинцовому небу. Как руки. Как пальцы. Как мольба.

К нему меня и тянуло. Я подбегала. Прижимала ладонь к шершавой, холодной коре. И шептала, задыхаясь, вкладывая в слова всю свою отчаянную надежду и ужас:

— Я вернусь…

Это была не просьба. Это была клятва. Самой себе? Лесу? Той силе, что вела меня сюда? Я не знала. Но знала: это правда. Я вернусь.

И затем, не оглядываясь, не думая, я делала шаг… в пустоту. Падала в серую бездну. В рёв воды и ветра.

И просыпалась.

Резко. С коротким вскриком, застрявшим в горле. В своей комнате. В своей кровати. Сердце колотилось как бешеное, пытаясь вырваться из груди. Горло сжимало. Дыхание перехватывало. Щёки были мокрыми от слёз. Подушка — влажной у виска.

Стоп. Слёзы?

Я провела рукой по лицу. Мокро. Настоящие слёзы. Не те, которых не было, когда меня били ремнём. Не те, которых не было, когда я стояла в углу и считала удары. А другие. Которые приходили только во сне. Только там, где я была не собой. Только там, где я была ею.

Я сжимала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Пытаясь удержаться в реальности. Ощутить холодные обои. Шершавое одеяло. Здесь и сейчас.

— Это просто сон… — выдыхала я хрипло. Глотая ком в горле. — Просто страшный сон…

Но слова звучали пусто. Потому что на пальцах ещё ощущался холод шершавой коры того дерева. В ноздрях стоял запах лесной сырости и спелых яблок. А в ушах — эхо собственного шёпота: «Я вернусь…» Слишком ярко. Слишком реально. Слишком… знакомо.

И ещё — злость. Она поднималась откуда-то из живота, горячая, густая. Злость на сон, который не отпускал. На отца из сна, которого я не знала. На себя — за то, что не могу проснуться и забыть.

Я не вставала. Лежала на верхнем ярусе, брат спал внизу. Я повернулась к стене — очень тихо, очень аккуратно, чтобы не разбудить брата, — и стукнула кулаком по стене. Один раз. Два. Три. Пока не заболели костяшки. Пока злость не отступила, оставив после себя слабость и тошноту.

Потом я села. Прислонилась спиной к стене. И сидела так, пока за окном не начало светать.

Каждую ночь, на протяжении многих лет, я проживала эту вторую жизнь. Падала в пропасть. И просыпалась с вопросом, который грыз меня изнутри сильнее любого ночного гостя: почему это кажется не сном, а памятью?

Утром я сидела на кухне. Смотрела в чашку с чаем. Не видела ни пара, ни чаинок. Только дерево, пропасть и серое платье. Мама говорила — про школу, про брата, про то, что опять не вымыта посуда. Брат кричал — он всегда кричал по утрам, пока не получал свою кашу. Отец собирался на работу — гремел ключами, искал носки. Обычное утро. Обычная жизнь. А я была там. На краю. С ладонью на холодной коре. С клятвой на губах.

В школе я сидела за партой. Смотрела в окно. Учительница говорила о войне, о мире, о датах — я не слышала. Я чувствовала взгляд. Невидимый. Но — здесь. Я оборачивалась. За спиной — ряд парт. Одноклассники. Кто-то списывал, кто-то рисовал на полях, кто-то спал с открытыми глазами. Никого. Лишь ощущение холодка и взгляд.

После уроков я шла в библиотеку. Искала книги о снах. О домовых. О древних культах. Просматривала сказки, мифы. Ничего. Только то, что люди придумали, чтобы не бояться.

Но я знала: это не сказки. Это — правда. Просто люди забыли. Или — заставили себя забыть. Потому что правда слишком тяжёлая. Слишком странная. Слишком — живая.

Я закрыла очередную книгу. Посмотрела в окно. За стеклом шёл дождь. Обычный. Серый. Скучный. И где-то там, в этом дожде, в этом мире, был он. Тот, кого я не знала. Но чьё присутствие чувствовала кожей. Тот, кто ждал. Так долго, что уже, наверное, перестал считать.

Иногда, на самой грани сна и яви, я чувствовала его. Не видела. Не слышала. Просто знала: он рядом. Он становился ближе. Не ко мне. В меня.

Домовой в углу ворчал. Скрипел половицами. Прогонял. Но тот, другой, не уходил. Он ждал. Терпеливо.

* * *

Я росла. Но росла не как другие дети — не с открытым миру сердцем, а сжавшись в комок страха и непонимания. Происходящее со мной было слишком странным, слишком пугающим, слишком… неправдоподобным.

Рассказать? Кому? Родители отмахивались — «выдумки», «насмотришься телевизора», «иди уроки делай». Бабушка смотрела на меня с леденящей осторожностью, смешанной с непонятной виной, — но молчала. Я замкнулась. Заперла свой страх, шёпоты, ночные визиты и леденящий паралич глубоко внутри, под слоем молчания и натянутой обыденности.

Я научилась не вздрагивать при ночных звуках, притворяться спящей, когда тяжесть давила на грудь, игнорировать холодное дыхание за спиной. Но цена была высока — я стала тенью в собственном доме, тихой и вечно настороженной.

Бабушка, Валентина Степановна, была женщиной из стали и правил. Выпрямленная спина. Седые волосы, собранные в тугой пучок — ни одна прядь не выбьется. Взгляд, способный пригвоздить к стене за малейшую шалость. Она не терпела «глупостей» вроде страхов по ночам. «Впечатлительная!» — отрезала она обычно, услышав мои жалобы. И я замолкала. Потому что с бабушкой не спорили. С бабушкой либо соглашались, либо молчали.

Поэтому тот день запомнился особо.

Бабушка пришла неожиданно. Средь бела дня. Пока родители были на работе. Я открыла дверь — и отступила на шаг. Лицо её было не просто строгим. Оно было пепельным. Как у покойника, которого ещё не успели загримировать. В глазах, обычно таких уверенных, плавала тревога. Она пыталась скрыть её резкими движениями — сдёрнула пальто, повесила на крючок, поправила воротник. Но я видела. Я всегда видела.

— Собирайся, — сказала она без предисловий. Голосом, не терпящим возражений.

— Куда?

— Пойдём. — Она не сказала куда. Просто стояла и смотрела, ждала, что я начну спорить.

Я не стала. Привыкла. Молча надела пальто — то самое, серое, с потайным карманом, в котором лежал фантик от конфеты. Зачем-то. Не помню уже.

Мы шли долго. Мимо знакомых дворов, качелей, на которых я вчера качалась. Мимо магазина, где продавщица тётя Зина всегда давала мне леденец. Бабушка молчала. Молчала так, что я слышала собственное дыхание. И ещё — холодок на затылке. Тот самый. Который в последнее время приходил всё чаще.

Я обернулась. Улица была пуста. Лишь ветер гнал пыль по асфальту. Как вдруг тень мелькнула за углом. Слишком плотная. Слишком — живая.

— Бабушка? — тихо спросила я. — Мы куда?

— К одной женщине, — отрезала бабушка, не оборачиваясь. — Не задавай вопросов. Просто делай, что скажу.

Мы остановились у самого неприметного дома. Затерявшегося в глубине двора. Старый. Тёмный. С окнами, занавешенными изнутри. В проёме стояла женщина. Не старая и не молодая. Лицо её было бледным, почти прозрачным. А глаза… Глаза были как два острых осколка тёмного стекла. Они впились в меня с такой силой, что я невольно отступила на шаг. Наткнулась на бабушку.

— Заходите, — сказала женщина голосом, похожим на шорох сухих листьев.

Внутри было темно. Накурено травами. Горьковато-сладкий, удушливый запах. На столе горела одна керосиновая лампа. Отбрасывала гигантские, пляшущие тени. Бабушка толкнула меня вперёд.

— Вот она. Посмотри.

Женщина — Марья, как её называла бабушка — подошла вплотную. Я почувствовала холод, исходящий от неё. Как от открытой форточки в морозный день. Марья неожиданно крепко схватила меня за подбородок. Своими длинными, тонкими пальцами. Они были ледяными. Я вскрикнула от неожиданности и боли. Попыталась вырваться. Но бабушка жёстко положила мне руку на плечо, удерживая на месте.

— Смотри в глаза, девочка, — прошептала Марья. И её голос стал вдруг властным. Как удар хлыста.

Я невольно подняла взгляд. Тёмные осколки глаз казались бездонными. Они втягивали в себя. Копались где-то внутри, под самой кожей. Выискивая… Что-то.

Марья нахмурилась. Потом её лицо побледнело. Не как у бабушки — пепельно. А мелово. Как у покойника. Она резко, будто обожглась, отдёрнула руку. Отшатнулась. Задела стол. Лампа качнулась. Тени метнулись по стенам как испуганные звери.

— Валя, — выдохнула она. Глядя не на бабушку. А сквозь меня. — Ты знала?

— Что знала? — бабушка напряглась. Сжимая моё плечо так, что кости затрещали. — Что, Марья? Говори!

Марья покачала головой. Не сводя с меня своего пронзительного взгляда. В её глазах теперь читалась не просто настороженность. Страх. Древний. Животный. Как у кролика перед удавом.

— За ней… — прошептала Марья. И голос её сорвался. — За ней идёт. Не домовой. Не тварь. Другое. Я вижу…

Она прикрыла глаза. Всматриваясь в невидимое.

— Оно не злое и не доброе. Древнее. Как кровь. Оно ждёт её. Ищет. Тянется.

Бабушка побледнела.

— Кто? Кто идёт?

Марья открыла глаза. В них стояли слёзы. Не жалости. Ужаса.

— Я не знаю, кто он. Но он не отсюда. Он… — Марья сделала неопределённый жест рукой. Пытаясь поймать слово из воздуха. — …не наш. Не местный. Не живой и не мёртвый. Он между. И он не отстанет.

Она снова посмотрела на меня. Долго. И в этом взгляде была жалость. Марья смотрела на приговорённого. Который ещё не знает о приговоре.

— Девочка, — сказала она тихо. Почти ласково. — Ты его чувствуешь?

Я не ответила. Не могла. Горло сжало. Но я знала. Знала, о чём говорит Марья. Холодок на затылке. Ощущение взгляда. Тот сон, где дерево на краю обрыва. То чувство, что кто-то ждёт. Не год и не два.

Я дышала носом. Медленно. До боли в ребрах. Выдох всё равно рвался. Меня взбесило то, что меня притащили, как на допрос, что говорят обо мне так, будто меня здесь нет.

— Да, — прошептала я наконец. И это слово прозвучало в комнате как приговор.

Марья отшатнулась. Бабушка вцепилась в её руку.

— Марья! Объясни! Что делать?! Как прогнать?!

Марья покачала головой. Медленно. Безнадёжно.

— Не прогнать, Валя. — Она отпустила мою руку. Вытерла ладонь о фартук — будто испачкалась. — Не молитвой. Не солью. Не ножом.

— Тогда что? — Бабушка шагнула вперёд. — Что делать?

Марья не ответила. Посмотрела на меня. Потом на бабушку.

— Он не тварь, Валя. Он часть её.

— Часть? Какая часть? Ты о чём?

— Крови. Судьбы. — Марья пожала плечами. — Я не знаю слов. Ты разве не видишь? — Она кивнула на меня. — Она другая.

Бабушка нахмурилась. — Что значит — другая?

Марья помолчала. Потом сказала — тихо, почти шёпотом:

— Я не сразу поняла. Думала — метка. Порча. А теперь вижу…

Она замолчала. Подошла к окну. За стеклом было серо и пусто.

— Это не порча. Это знак. Она — другая. Не такая, как все.

— И что это значит? — Бабушка почти кричала.

— То, что в ней — жизнь, — сказала Марья. — Та, что заставляет семя прорастать. Кровь течь. Память держаться. Но жизнь может стать пеплом. Если её не защитить.

Бабушка замерла.

— Уводи её, Валя, — сказала она тихо. — И молись, чтобы он не нашёл её. Потому что когда найдёт… — Она замолчала. Сглотнула. — …он не отпустит. Никогда.

Меня вытолкали в маленькое холодное помещение. Дверь за мной захлопнулась. Я прилипла к щели. В ушах зашумело.

Сквозь толстое дерево доносились приглушённые, но резкие голоса. Бабушкино — тревожное, сдавленное. Марьино — шипящее, как змея.

Обрывки фраз долетали, обжигая ледяным ужасом:

— …нечисть… за ней ходит… не одна…

— …привязалась… как тень… смотрит…

— …другая… она — другая…

— …не отцепится… пока не…

— …береги… или…

Последнее слово я разобрала отчётливо. Сквозь дерево. Произнесённое Марьей с каким-то странным, почти жалостливым ударением:

— …пропадёт.

И, помолчав, добавила с недоброй усмешкой, от которой по спине пробежал холодок:

— Она себя ещё покажет…

Дверь резко открылась. Бабушка вышла. Лицо её было каменным. Но в глазах бушевала настоящая буря — страх, гнев, растерянность. Она молча схватила меня за руку так крепко, что я вскрикнула. И почти побежала прочь. От этого дома. От этого двора. От этих страшных слов, висящих в прокуренном травами воздухе.

Я едва поспевала, спотыкаясь. Я не спрашивала. Бабушка не объясняла. Но слова «другая» и «пропадёт» жгли мне душу. Как те самые жёлтые глаза в темноте. Что-то теперь стояло между мной и бабушкой, то, чего я не могла назвать. И оно не уходило.

Дома бабушка не сказала ни слова. Ушла на кухню. Долго гремела чашками. Я сидела в комнате, обняв колени. Слушала, как за стеной бабушка плачет. Тихо. Чтобы никто не слышал.

Бабушка не знала. Не знала, что за мной идёт кто-то. Не знала, что делать. Не знала, как защитить. Она просто боялась. И это было страшнее всего. Потому что бабушка не боялась ничего. Ни войн. Ни болезней. Ни смерти. А теперь — боялась. За меня.

Я закрыла глаза. И в темноте почувствовала знакомые ощущения, те самые. Он был здесь. Рядом. Смотрел. Ждал.

— Кто ты? — прошептала я в пустоту. — Чего ты хочешь?

Ответа не было. Только ветер за окном. И тихий, едва уловимый шёпот. Не слова. Просто выдох. Кто-то очень далёкий — и очень близкий — услышал меня. И улыбнулся.

А я вдруг почувствовала, как злость — та самая, которую я держала двумя руками, — поднимается снова. Не на бабушку. Не на Марью. На него. На того, кто стоял в темноте и улыбался. Кто ждал. Кто не спрашивал. Кто просто был.

«Ты меня не получишь, — подумала я. И в этой мысли было столько ярости, что пальцы задрожали. — Слышишь? Не получишь. Я не игрушка. Я не часть. Я — Яна. И я сама решу, кому принадлежать».

Шёпот стих. Как будто кто-то удивился. Или — заинтересовался.

А я сидела на полу, обхватив колени, и впервые не чувствовала себя жертвой. Я чувствовала себя… опасной.

* * *

Бабушка умерла через год. Тихо. Во сне. Я не успела спросить. Не успела узнать. Что она знала. Что скрывала. Что боялась.

Похороны были серые. Не потому, что небо серое — оно было как раз белое, пустое, без единого облака. Серые были люди. Серые лица, серые пальто, серые голоса. Я стояла у могилы, в чёрном платье, которое мне было велико — мама купила его на вырост, потому что «ещё вырастешь», и от этого нелепого расчёта мне хотелось кричать. Я смотрела, как опускают гроб. Как комья глины стучат по крышке. Глухо. Тяжело. Как сердце, которое перестало бить.

Я не плакала. Конечно, не плакала. Я стояла с сухими глазами и считала комья земли. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Как ступеньки в подъезде. Как удары ремнём. Как всё, что я умела считать, чтобы не чувствовать.

Мама плакала. Папа стоял с каменным лицом и молчал. Брат — он уже подрос — всхлипывал, шмыгал носом и вытирал его рукавом. А я смотрела на гроб и думала: «Ты знала. Ты всё знала. И молчала».

После похорон были поминки. Кутья. Блины. Чай. Разговоры вполголоса — «хорошая была женщина», «царствие небесное», «как же теперь без неё». Я сидела в углу, ела блины, которые не имели вкуса, и слушала, как взрослые говорят о бабушке так, будто знали её. Они не знали. Никто не знал. Кроме, может быть, той женщины с глазами-осколками. Марьи. Которая сказала: «Она себя ещё покажет».

Домой вернулись поздно. Я упала на кровать, не раздеваясь. Закрыла глаза. И провалилась в сон без снов. Без усадьбы. Без дерева. Без пропасти. Просто тьма. Густая, как одеяло.

А в три часа ночи зазвонил телефон.

Я проснулась от резкого, дребезжащего звука — старый проводной аппарат в прихожей, который мы так и не сменили на мобильный, потому что бабушка говорила: «Проводной — надёжнее. Мобильник — это игрушка». Телефон звонил в темноте, и звук был таким громким, таким неуместным, таким невозможным в три часа ночи, что я сначала подумала — показалось. Но нет. Звонил.

Я встала. Пошла на цыпочках, чтобы не разбудить родителей. Сняла трубку.

— Алло?

Тишина. Потом — шорох. Кто-то дышал в трубку. Медленно. Тяжело. Через силу.

— Алло? — повторила я. — Кто это?

И тогда я услышала голос.

Бабушкин.

— Яна, — сказала она. Голос был тихий, хриплый, как будто шёл через помехи. Но это был её голос. Её. Я бы узнала его из тысячи. Из миллиона. Из могилы.

— Яна.

Рука сжала трубку так, что побелели костяшки. Сердце остановилось. Потом рванулось. В бешеной пляске.

— Яна.

Пауза. Долгая. Она словно продиралась сквозь невидимую преграду, чтобы сказать. Каждое слово отнимало силы.

— Прости.

И — гудки. Короткие. Резкие. Как приговор.

Я стояла в тёмной прихожей. С трубкой в руке. С сердцем, которое колотилось где-то в горле. И слушала гудки. Пока они не превратились в тишину. В густую, плотную тишину, которая звенела в ушах.

Я стояла с сухими глазами и смотрела на трубку. И чувствовала — злость. Она поднималась снова, горячая, густая. Не на бабушку. На себя. За то, что не спросила. За то, что не успела. За то, что она ушла, и теперь звонит из ниоткуда, и просит прощения, и я не могу ответить.

— Прости, — сказала я в трубку. Голос был хриплый. Чужой. — Прости, что не спросила. Прости, что боялась. Прости, что не была рядом.

Гудки. Тишина. Только ветер за окном.

Я положила трубку. Медленно. Аккуратно. Села на пол. Прислонилась спиной к стене. И сидела так, пока за окном не начало светать.

А утром я проверила журнал вызовов — старый аппарат определял номер. Ничего. Пусто. Никаких входящих в три часа ночи. Никаких звонков. Совсем.

Я посмотрела на аппарат. Потом на угол, где всегда был домовой. Где сейчас было тихо.

— Это ты? — спросила я.

Тишина. Потом — скрип половицы. Один. Долгий. Как будто: «Нет. Не. Я».

— Тогда кто?

Молчание. Тихий стук по трубе. Один. Два. Три. Медленно. Как будто: «Она. Сама».

Я закрыла глаза. Вдохнула. Выдохнула. И поняла: бабушка не ушла. Она где-то здесь. Рядом. Смотрит. Просит прощения. За молчание. За страх. За то, что не смогла защитить.

Я простила её. Тогда же. Сразу. Потому что поняла: она была мной. А я — ею. Мы обе боялись. Обе любили. Обе молчали. И обе — знали.

Но иногда, ночами, я слышу её голос. Не слова. Просто — дыхание. Она рядом. Охраняет. Просит прощения.

А иногда — в три часа ночи — звонит телефон. Я не снимаю трубку. Просто слушаю. Как он звонит. Долго. Настойчиво. Кто-то очень хочет, чтобы я ответила. Кто-то очень хочет сказать мне о чем-то важном.

Но я не отвечаю. Потому что знаю: если отвечу — услышу её голос. И тогда придётся ответить. А я ещё не готова. Не готова простить себя.

Пока не готова.

Глава 4

Я перешла в шестой класс. Купили форму на два размера больше. Мама сказала: «На вырост». А ночью пришли Порталы.

Кошмары об усадьбе стали казаться почти ностальгией. Там был лес, дерево, клятва. Там была я — другая, но понятная. А Порталы принесли то, что не вписывалось ни в сон, ни в явь.

Я видела знакомые места. Школьный коридор, пахнущий мелом и мокрой тряпкой. Торговый центр с эскалаторами. Автобусную остановку с облупленной скамейкой. Но в стенах, дверях, окнах зияли чёрные дыры. Не просто темнота — живая, пульсирующая. Она вытягивалась щупальцами, хватала людей.

Одноклассника, смеявшегося на бегу. Он обернулся, махнул кому-то — и тьма вышла из стены. Схватила за ногу. Потянула. Он закричал. Никто, кроме меня, не слышал. Он исчез. Был — и нет.

Старушку с авоськой на лавочке. Она кормила голубей. Крошила хлеб. А потом чёрная дыра открылась под лавочкой. Беззвучно. Жадно. Старушка не успела вскрикнуть.

Парня у киоска. Он считал сдачу. Медяки блестели на ладони. Тьма обняла его сзади. Как обнимают любимого. И унесла.

И в этом хаосе — взгляд. Незнакомый. Холодный. Он не голоден. Он ждёт. Он открывает двери. Как пастух направляет стадо. Как охотник спускает собак.

Я чувствовала его каждую ночь. Когда Портал открывался. Когда тьма вытягивалась щупальцами. Когда люди исчезали. Кто-то стоял за этим. Кто-то решал. Кто-то играл.

Их было двое. Один — спасал. Другой — открывал двери.

Я не знала имени ни одного из них. Но моя кровь знала. И кровь говорила: они придут. Оба. Потом. Когда я буду готова. Когда всё изменится.

Той ночью кошмар обрушился с новой силой.

Знакомый до боли коридор. Мел и пыль. Рядом со мной стояла девочка лет тринадцати. Тоненькая. Две аккуратные косички. Россыпь веснушек на носу.

Я её не знала. Но что-то в ней было знакомое, родное.

Вдруг дверь в книгохранилище вздулась. Почернела. Превратилась в пульсирующую чёрную бездну. Из неё вывалились существа. Похожие на людей. Точнее — то, что от них осталось. Искажённые до кошмара. Опутанные пульсирующей тьмой.

Кожа — пергаментная, с просвечивающими синеватыми жилами. Глаза — пустые, бездонные колодцы. Пальцы — неестественно длинные, тонкие. С острыми когтями на концах.

Они двинулись к девочке. Медленно. Беззвучно. С хищной уверенностью.

Инстинкт сработал раньше мысли.

— Бежим! — выдохнула я, вцепляясь в тонкую руку.

Мы рванули вверх по лестнице. Сердце колотилось о рёбра. Но твари были быстрее. Они материализовались из теней. Отрезали пути. Загнали в тупик — угол коридора с глухими стенами и высокими окнами. Наглухо зарешеченными.

Девочка прилипла к стене. Её тело сотрясали беззвучные рыдания.

— Не бойся, — выкрикнула я, раскинув руки. Как щит. Перед дрожащей фигуркой. Сама дрожала от ужаса. Но отступать было некуда.

И тут — злость. Она поднялась откуда-то из глубины, горячая, как лава. Не страх. Не паника. Ярость. Чистая, животная ярость на этих тварей, на этот коридор, на этот сон, на всё, что лезло в мою жизнь без спроса. Я сжала кулаки. И почувствовала, как что-то внутри — то самое, что я держала двумя руками, — рвётся наружу.

Когтистые пальцы уже тянулись к моему лицу. Холодная пустота глаз впивалась в душу.

Я вжала голову в плечи. Зажмурилась. Ожидая разрыва плоти.

И тут — голос.

— Не трогать.

Голос был тихий. Но от него задрожали стены. Твари замерли. Их когти остановились в сантиметрах от моего лица. Кто-то нажал паузу.

— Она моя.

Я с трудом разлепила веки. За спинами тварей, в клубах чёрного дыма, стоял он.

Длинный чёрный сюртук. Струящийся до пола. Выкроенный из ночи. Лица не видно. От плеч поднималась живая мгла. Густая, медленная. Она окутывала голову капюшоном, скрывая черты. Иногда в этой мгле проступали два золотых огонька. Туман шевелился, как плащ на ветру, и тянулся за ним шлейфом. Пахло деревом и кровью. За спиной — огромная, неясная тень. Колышущаяся. Как крылья гигантской летучей мыши. Ни лица, ни глаз — лишь силуэт. В комнате стало теснее.

Существа заскулили. Жалобно и покорно. Попятились. Буквально поползли обратно к пульсирующей двери-бездне. Он едва заметно махнул рукой в чёрной перчатке — и портал схлопнулся с глухим хлопком. Остался лишь едкий запах гари и — свежего дерева.

Человек в чёрном повернулся ко мне. Я почувствовала кожей его взгляд.

Он подошёл. Ближе, чем следовало. Туман потянулся ко мне. Не угрожающе. Изучающе. Пробовал на вкус. И — коснулся.

Не рукой. Туманом. Он скользнул по моей щеке. Холодный. Живой. Я попыталась отползти. Тело не слушалось.

— Ты жива, — сказал он. Не вопрос. Констатация. — Это все же ты.

— Жива? — переспросила я, не понимая о чем он говорит.

— Ты — аномалия. — Он перебил. Спокойно. Отмахнувшись от моих слов, как от назойливой мухи. — Я не люблю аномалии. Они ломают порядок. Но я выясню, что ты такое. И тогда решу, что с тобой делать.

— А если я не хочу? — Я понимала, что это глупо. Но спросила.

— Ты хочешь, — перебил он. — Ты просто ещё не поняла. — Он повернулся.

Растворился в темноте. А я осталась на полу. С онемением в пальцах. Медленно проходящим. Кровь возвращалась в конечности. Покалывание.

Проснулась.

В ушах ещё долго стоял тот леденящий голос: «Она — моя».

Я сидела на кровати, обхватив колени. Я знала этот голос. Не помнила. Но знала. Он звучал во мне всегда. Он был частью меня. И это было страшнее любого кошмара.

Домовой в углу притих. Даже половицей не скрипнул. Он боялся. Не меня. Его.

Прошло около месяца. Я механически шла через школьный двор.

Уворачивалась от шумной толпы. Смотрела под ноги. Думала о своём. И вдруг — увидела её.

Ту самую девочку с косичками и веснушками. Она стояла у стенда с расписанием. Новенькая. Форма не по размеру — рукава длинные, пиджак висит. Рюкзак на одном плече.

Имя вырвалось само. Опережая мысль. Как заученное заклинание.

— Ты… Катя?

Девочка обернулась. Рюкзак соскользнул с плеча — она поймала его локтем, не глядя.

— Да. — Пауза. — А ты откуда знаешь?

Я не ответила. Потому что не знала, что сказать. Стояла и смотрела на её косички. На веснушки. На то, как она щурится — словно пытается вспомнить, где мы могли видеться.

— Мы не знакомы, — сказала я наконец. — Но я тебя знаю. Из сна. Глупо, да?

Катя не засмеялась. Не покрутила пальцем у виска. Просто смотрела.

— Не глупо, — сказала она. — Мне тоже снилось. Что я стою в коридоре. А ты меня за руку тянешь. И мы бежим.

Я замерла.

— От кого?

— Не помню. — Она пожала плечами. — Но помню, что страшно. И что ты — не страшная.

Она подошла ближе. Ближе, чем стояла бы с незнакомым человеком. Заглянула в глаза. И в её взгляде что-то щёлкнуло — как выключатель.

— Ты их видишь, — сказала она. Не вопрос. Утверждение.

— Кого?

— Тени. Сны. То, чего другие не видят.

Я хотела соврать. Сказать «нет». Улыбнуться. Уйти. Но горло сжало.

— Да, — сказала я. — Вижу.

Катя кивнула. Не сказала больше ничего. Просто взяла меня за руку. И мы пошли. В школу. В класс. В обычную жизнь. Которая с этого дня перестала быть обычной.

Потому что теперь у меня был кто-то. Кто видел то же, что и я. Кто не считал меня сумасшедшей.

Сидели на лавочке у школы. Пока солнце не село. Пока не стало темно. Пока не пришло время идти домой.

— Завтра? — спросила Катя.

— Завтра, — сказала я.

Она кивнула. Встала. Отряхнула юбку — на ней были крошки от печенья, которое она ела на подоконнике. И пошла. У двери обернулась.

— Ты это… — Она замялась. — Не пропадай, ладно?

— Не пропаду.

Она ушла. А я осталась сидеть.

А вечером, дома, я стояла у окна. Смотрела на темный двор. На фонарь. На пустую площадку. И чувствовала: злость. Она никуда не делась. Она всё ещё спала под рёбрами. Но теперь у неё был враг. Не брат с пультом. Не мама с усталым голосом. А те, кто забирал людей. Те, кто открывал двери. Те, кто смеялся из тьмы.

И я знала: однажды я сорвусь. Не в стену. Не в брата. В них.

Домовой в углу скрипнул. Один раз. Коротко. Как будто: «Я. Вижу. Ты. Растёшь».

Глава 5

После встречи с Катей сны изменились.

Порталы никуда не ушли — они стали глубже, будто кто-то приоткрыл в них второе дно. Но теперь приходил он. Почти, в один и тот же час, когда город за окном стихал до звона в ушах. Он не показывал лица. Голос — низкий, как скрежет камня по камню. Холод — древний, из места, где свет никогда не касался земли. И запах: грозы, сжёгшей всё, до чего дотянулась.

Я стояла на краю. Передо мной зияла пропасть. Не просто темнота — живая, пульсирующая тьма. Она дышала, ждала, звала. А за спиной — голос. Низкий. Как гул земли.

— Я наблюдал за тобой. — Я смотрел. Всегда. Это… утомительно.

Не звук. Мысль. Отозвалась где-то глубоко внутри. Память о чём-то давно знакомом и забытом.

Я обернулась. Он стоял. Тот самый. В чёрном сюртуке, струящемся до пола. Две золотые точки тлели в этой мгле. Я уже видела его раньше — в коридоре, среди тварей, когда он сказал: «Она — моя». Но тогда я проснулась. Не успела спросить. А теперь — он стоял здесь. Ждал.

— Ты кто? — Я не хотела спрашивать. Но спросила.

Он не ответил. Лишь протянул руку. В чёрной перчатке. Длинные пальцы. Изящные. Холодные даже на вид.

— Идём. Я покажу тебе Исток.

Я сделала шаг. И проснулась.

Сердце колотилось. В ушах звенело. На губах — вкус пепла. Я лежала в кровати. Смотрела в потолок. И понимала: это не просто сон. Это — дверь. И я уже на пороге.

С той ночи он приходил почти каждую ночь. Я ждала его. И боялась. И хотела, чтобы он пришёл.

Иногда мы шли по руинам. Города, которых никогда не было на карте. Циклопические обломки под багровым, вечно закатным небом. Он учил меня различать голоса в хаотичном шёпоте тьмы. Читать предостерегающие узоры на стенах падших цитаделей. Чувствовать токи древней, спящей энергии в мёртвом камне. Он был моим проводником. И единственной константой. В царстве ночного кошмара, которое стало моей второй, подчас более реальной, жизнью.

Днём я ходила в школу. Сидела за партой. Смотрела в окно. Учительница говорила о войне, о мире, о датах. Я не слышала. Я чувствовала: взгляд. Невидимый. Но — здесь. Всегда. А рядом — Катя. На подоконнике. На переменах. По дороге домой. Она не задавала лишних вопросов. Просто была. И этого хватало.

Шли месяцы. Я взрослела. Но сны не отпускали. Они становились глубже. Ярче. Реальнее. И однажды грань между сном и явью стала такой тонкой, что я перестала её замечать.

Он стоял перед зияющим порталом. В портале проступало багровое небо. Лизавшее обломки башен. Тишина здесь была особенной — густой, давящей, звенящей в ушах. Сам воздух боялся звука.

Я стояла поодаль. Привыкла к его присутствию. К холоду, который приходил с ним. Но имени не знала. И лица не видела. Только по тому, как он стоял — не двигаясь, не дыша, — было ясно: он умеет ждать.

— Я почувствовал тебя, — раздался голос. — С тех пор, как понял, что ты начала вспоминать.

Я смотрела на него. И во мне не было ужаса. Было лишь странное, тянущее узнавание. Я знала этот голос. Знала всегда.

— Хватит. Кто ты? — Я устала бояться.

Он стоял и молчал, и его тень на стене становилась длиннее. Потом произнёс — тихо, будто имя давалось ему труднее, чем целые миры:

— Киан. Меня зовут Киан.

Тьма под туманом не дрогнула. Лица я так и не увидела. И почувствовала запах грозы — словно она прошла где-то рядом. Теперь, когда он стоял ближе, этот запах стал гуще, тяжелее. Казалось, сама тьма дышала им.

— Хочешь увидеть мой мир? — Голос прозвучал неожиданно громко. Разрывая немую пустоту. Всё тот же холод. Но теперь в нём читался вызов. Или искушение?

Я не успела ответить. Он поднял руку в чёрной перчатке. Провёл пальцами по самой ткани реальности перед собой. Воздух затрещал. Как тонкое стекло под невыносимой тяжестью. Там, где прошли его пальцы, разверзлась рана в мироздании. Не портал — вихрь. Его мир был из приглушённых, выцветших, болезненных цветов. Гнилостно-зелёный, пронизанный чёрными жилами. Грязно-лиловый, как старый синяк. Кроваво-красный, лишённый жизни и яркости.

За этим вихревым занавесом виднелось нечто чудовищное и величественное. Руины. Но не тех городов, где мы обычно бродили. Эти башни были древнее. Более искорёженные. Оплетённые гигантскими, мертвенно-серыми лианами. Похожими на окаменевшие змеиные хребты. Воздух, хлынувший из разлома, обжёг лёгкие. Запах гари смешивался с тяжёлой сладостью праха и тленом тысячелетий. Невыносимая тоска давила на грудь. Выжимая воздух.

А в самом сердце этого мира, за руинами, за пеленой багрового неба, возвышалось Древо.

Я не сразу поняла, что это дерево. Слишком огромное. Слишком древнее.

— Смотри. Потом спросишь.

Мир и Древо были одним. Руины — его костями. Багровое небо — его дыханием. Чёрные лианы — его ранами.

— Это Пограничье, — сказал Киан. Голос был глухим. Без обычного холода. Только тяжесть. Только боль. — Древо. То, что держит миры. То, что питает баланс. То, что соединяет всё. И то, что угасает.

— Идём. — Его слово было не просьбой. Приказом? Возможностью? Дверью в бездну?

Я, заворожённая ужасом и странным магнетизмом зрелища, сделала шаг вперёд. К вибрирующему краю портала. И тут же — отпрянула. Как от удара током.

Холод. Не просто мороз — абсолютный. Проникающий в каждую клетку. Вымораживающий душу. В ушах завыл пронзительный звон — тишина Истока была громче любого крика. А те цвета… Они не просто резали глаза — они взывали к какому-то древнему, забытому страху в самой глубине моего существа. Кричали о чуждости. О смерти.

— Нет! — вырвалось у меня. Хрипло. С дрожью в голосе. Я отшатнулась, закрывая лицо руками. — Не могу! Это… это не моё! Это чуждое!

— Ладно, — сказал он. — Не сейчас.

Он не двинулся. Туман вокруг него колыхнулся — медленно, как выдох. Ни тени реакции. Только тьма под туманом — неподвижная, как сама вечность.

— Страх — разумен. Глупость — нет. Но дверь открыта. Элеонор.

Я вздрогнула. Имя ударило по ушам. Чужое. Незнакомое. И в то же время — отозвалось глухим эхом где-то в самых потаённых уголках памяти. Заставив сердце бешено колотиться.

— Что? — переспросила я. — Кого ты назвал?

— Тебя, — сказал он. — Элеонор.

— Меня зовут Яна, — сказала я. Голос дрогнул. — Я не Элеонор. Я не знаю никакой Элеонор.

— Я не люблю повторять, — в голосе не холод, а досада.

Он не отвёл взгляда. Смотрел на меня из-под тумана. Потом сказал — тихо, почти неслышно:

— Знаешь. Просто забыла.

— Ты не помнишь, — сказал он. — Это… неудобно.

— Неудобно? — Я чуть не засмеялась. — Тебе неудобно?

— Да. — Он смотрел без тени иронии. — Я ждал не этого.

Я молчала. Смотрела на него. На туман. На тьму под туманом. И чувствовала, как внутри все сжимается — не от страха, а от чего-то другого. От узнавания. От того, что он был прав. Я знала это имя. Знала его всегда. Просто держала глубоко. Под серой кофтой. Под «всё хорошо, мам». Под всем, что было мной.

— Хорошо, — сказала я наконец. Голос дрогнул, но я его выровняла. — Допустим. Допустим, я — Элеонор. Допустим, я забыла. Но это не объясняет вот этого. — Я кивнула на портал, на багровое небо, на чёрные лианы.

— Оно… болеет? — Я не знала, как спросить. — Почему оно чёрное?

Он повернулся к порталу. Смотрел, пока я не начала слышать, как шумит кровь в ушах. Потом сказал:

— Потому что связано со мной.

— Что значит — связано?

— Я — причина, — сказал он. — Не спрашивай.

Я смотрела на него. На его руки в перчатках. На то, как он держит их — чуть отведя от тела, будто боясь коснуться даже воздуха.

— Покажи, — сказала я.

— Что?

— Покажи, что ты делаешь. С Древом.

Он помолчал. Потом шагнул к самому краю портала. Не внутрь — к краю. Протянул руку. И я увидела. Сквозь вихрь, сквозь цветные полосы, сквозь багровое небо — его пальцы в чёрной перчатке коснулись коры. И там, где они касались, кора чернела. Трескалась. Умирала. Медленно. Он вытягивал из неё жизнь. По капле. По вздоху.

— Тебе больно?

Он не ответил.

— Когда ты касаешься. Тебе больно?

— Нет. — Пауза. — Уже нет.

Я смотрела и не могла отвести взгляд.

— Я… — начала я. Не зная, что сказать. Не зная, как помочь. — Что я могу сделать?

Он отвёл руку от портала. Повернулся ко мне. В мгле вспыхнули два золотых глаза — усталые, но живые.

— Ты уже делаешь, — сказал он. — Ты вспоминаешь. Ты — здесь. Этого достаточно. Пока.

Вихрь цветов сжался. Портал схлопнулся с глухим всхлипом. Оставив после себя лишь вибрацию в воздухе да привкус праха на языке.

Я вздрогнула. Сердце колотилось. А в горле стоял ком от невыплаканных слёз.

Я вынырнула из видения, но всё ещё стояла на грани. Воздух дрожал. Цвета были тусклее, звуки — глуше, время текло медленнее. Сама реальность не решалась сделать следующий шаг.

Он стоял рядом. Его тень — всё, что я могла видеть. Но этого было достаточно. От него шёл холод, как от открытого окна зимой. И ощущение, что он ждал этого разговора дольше, чем я живу.

— Почему они? — Я показала на разлом. — Почему не я?

Я помнила их лица — искажённые ужасом. Руки, цепляющиеся за края разлома. Прежде чем тьма поглотила их без следа.

Он повернулся ко мне.

— Они были пустыми. Забыли, кто они, — сказал он. — Мир забирает их силу, их знания. Они больше не сопротивляются. Не чувствуют разрыва. А Истоку нужна сила. Он так подпитывается. Через них. Через их пустоту.

— Но я же тоже человек! — возразила я.

— Подожди. — Я подняла руку. — Я не понимаю половину слов. Что значит «пустые»? Как чашка? Как ведро?

Он замолчал. Посмотрел на меня. Долго.

— Как человек, который забыл, что он человек. Вот так.

— Нет. — Его голос прозвучал как приговор. — Ты — другая. Твоя душа помнит. Она отталкивается от Порога. Потому что знает: если шагнёшь — назад пути не будет. Ты ещё не сделала выбор.

Я посмотрела на свои руки. На тонкие серебристые линии, проступавшие под кожей только здесь, в этом пограничье. Знаки. Язык моей истинной крови.

— А если бы я шагнула? Тогда? В Исток? — спросила я.

Он медленно провёл пальцем в перчатке по моему запястью. Прямо над одной из линий. От прикосновения не было холода. Только онемение. Тяжёлое. Оно поднялось по руке. До локтя. До плеча. И — странное тепло в глубине. И запах — резче, ближе, глубже. Дерево. Кровь. Дым.

— Ты бы проснулась там. Настоящей. Поняла бы всё. — Он наклонился ближе. И тень от тумана упала на моё лицо. — Но… ты бы перестала быть здесь. Совсем.

Я поняла. Это не просто сны. Это дверь. И я уже давно на пороге.

— Портал не берёт тех, у кого есть воля. Твоя воля держит его, — прошептал он. Его дыхание, холодное и безжизненное, коснулось моей щеки. — Ты можешь войти. Добровольно. Но можешь и остаться. Пока не решишь — он тебя не тронет. Твоя воля связывает его.

— А они… те люди… у них не было выбора? — прошептала я.

— Они отдали выбор раньше. Каждым днём, когда верили только в то, что можно потрогать. Забывали, что мир — не только скорлупа. Они отдали свой выбор задолго до того, как Портал их нашёл. Они были… готовы.

Я посмотрела в сторону разлома. Там, в глубине, мерцали огни другого неба — холодные и незнакомые. И где-то там, за этими огнями, стояло Древо. Умирающее. Связанное с ним. С тем, кто ждал.

— А если я… ну… решу? — Я чувствовала себя идиоткой

— Тогда, — он коснулся моего подбородка. Заставляя встретиться взглядом с тьмой под туманом. — Ты наконец проснёшься. По-настоящему.

***

Впервые он пришёл, когда мне было двенадцать. Я запомнила не лицо — его не было. Я запомнила холод. А с тринадцати он уже не пропускал ни одной ночи. Только силуэт, окутанный туманом. Только холод. Но я знала: он ждёт. Когда я вспомню. Когда буду готова.

А потом — однажды — он остановился. Среди особенно мрачных руин. У подножия когда-то величественной арки. Ныне — лишь груды чёрного камня. Повернулся ко мне.

Я почувствовала движение раньше, чем увидела. Холод сгустился. Воздух стал плотным. Он шагнул ближе. Взял мою руку. Через перчатку. Но даже сквозь ткань я ощутила силу. Не грубую. Древнюю. Сама земля держала меня за запястье.

— Сними, — прошептала я. Не понимая, что говорю. — Сними перчатку.

Он замер. Тишина звенела.

— Ты не понимаешь, о чём просишь, — сказал он наконец. Голос был глуше обычного. — Всё, к чему я прикасаюсь, — умирает. Жизнь высасывается. Мгновенно. Безвозвратно. Я изгнан. Проклят. Мои руки — смерть. Для всего живого. И для Древа. Особенно для Древа.

— Сними, — повторила я. И в моём голосе была не просьба. Знание. Я знала, что со мной этого не случится. Знала всегда.

Он медленно, очень медленно, стянул перчатку с правой руки. Я не видела лица. Не видела руки. Только тьму, которая сгустилась вокруг нас. Только холод, который стал невыносимым. И запах — теперь без ткани, без преграды — ударил в лицо. Свежеспиленное дерево. Кровь. Кожа. Дым. Что-то древнее, тёмное, мужское. Так пахнет то, что живёт в лесу и убивает.

Он коснулся моей щеки.

Голыми пальцами.

Я замерла. Ожидая боли. Ожидая смерти. Ожидая чего угодно.

Ничего не произошло.

Только онемение. Как от тока. Оно разлилось по щеке. По шее. По плечам. И — тепло. Странное. Древнее. Что-то проснулось во мне. Дверь, о которой он говорил, приоткрылась.

Он не отдёрнул руку сразу. Смотрел так, что я начала чувствовать каждый волосок на теле. Пальцы лежали на моей щеке. Холодные. Неподвижные. Он изучал меня. Выверял.

— Ты жива, — сказал он наконец. И в голосе — впервые — появилось что-то живое. Не металл. Не холод. Первый, судорожный глоток воздуха.

— Жива.

— Почему?

Я не поняла.

— Что?

— Я касаюсь тебя. — Его палец медленно провёл по моей щеке. Вниз. К подбородку. — И ты не умираешь. Этого не должно быть. — Он наклонился ближе.

— Это нарушает порядок. А я не люблю, когда нарушают порядок. Но я узнаю, как это возможно. И тогда решу.

— Решишь? — Я хотела закричать. Не могла. Горло сжало. — Что решить?

Он не ответил. Выпрямился. Убрал руку. Надел перчатку. Медленно. Неохотно.

— Ты — загадка, Элеонор, — сказал он.

— Загадки меня раздражают. Но я их решаю. Все. Рано или поздно.

Он снова назвал меня Элеонор. И это имя отозвалось в крови, как удар гонга. Но он не сказал главного. Почему я выжила. Почему его прикосновение не убило меня. Ответ придёт позже. Я это знала. А пока — он исчез.

Растворился в тьме. Оставив меня одну. С вопросом, который грыз изнутри: кто я?

Утром я проснулась с онемением на щеке. Там, где он коснулся. Кожа была прохладной — но не мёртвой. Живой. Я приложила ладонь. Ничего. Только память. И запах. Слабый. Его. Который остался на подушке. Как след. Как метка. Как обещание.

В школе я сидела на подоконнике. Смотрела на двор. Катя подошла. Села рядом.

— Ты странная, — сказала она. — Но мне нравится.

Я улыбнулась. Впервые — легко.

— Спасибо.

Мы молчали. Долго.

Катя кивнула. Не спросила больше. Просто сидела рядом. И это было — хорошо.

А где-то за окном, за стенами школы, за пределами того, что я могла видеть и понимать, — он ждал.

* * *

Мы стояли на нейтральной территории. Там, где обычно встречались. Здесь не было ни Древа, ни Истока. Только руины. Только багровое небо. Только мы.

Я стояла поодаль. Смотрела на его спину. На чёрный сюртук, струящийся до земли. На тень, которая шевелилась вокруг него. И чувствовала: он скрывает. Молчит. Лжёт. Я должна знать. Но он не скажет.

Он не обернулся. Пальцы в перчатке сжались. Туман замер.

— Киан. — Я подошла ближе. Камни хрустели под ногами. — Ты сказал, что покажешь мне Исток. Но мы не там. Мы здесь. Опять.

Он не обернулся. Смотрел вдаль. Туда, где багровое небо смыкалось с чёрной землёй.

— Ты не можешь туда попасть, — сказал он. — Пока.

— Почему?

— Потому что ты не прошла через портал. Отпрянула. Испугалась. Это разумно. Но недостаточно. Это значит, что Пограничье для тебя закрыто. Пока ты не сделаешь выбор. Пока не шагнёшь сама. Добровольно.

Я замолчала. Вспомнила тот холод. Абсолютный. Вымораживающий душу. Тот звон в ушах. Те цвета, которые кричали о чуждости. Я действительно испугалась. И действительно не прошла.

— Тогда как я увижу Древо? — спросила я. — Как пойму, что это такое?

Он наконец обернулся.

— Я покажу, — сказал он. — Не вживую. Но покажу.

Он поднял руку. В чёрной перчатке. Медленно. С видимым усилием преодолевая сопротивление воздуха. Провёл пальцами по воздуху перед собой. Воздух задрожал. Затрещал. Как тонкое стекло. И в этом треске — разверзлась рана. Не портал. Просто окно. Просто видение. Просто картинка, которую он вытянул из своей памяти и повесил передо мной.

Я увидела Пограничье.

Серая дымка стелилась по земле. Цеплялась за ноги. Мёртвая земля. Голые камни. Я увидела ствол, похожий на обгоревшую колонну, и чёрные жилы, ползущие по коре.

Но листьев почти не было. Только редкие, сухие, скрюченные пластины, дрожащие на ветру. Как последние зубы в старческом рту. Они шелестели. Тихо. Жалобно. Просили. Молили.

А по стволу, по ветвям, по корням — ползли чёрные лианы. Живые. Пульсирующие. Они пили. Впивались в кору. Высасывали сок. Медленно. Но неотвратимо. И там, где они касались, дерево чернело. Трескалось. Угасало.

А внизу, у самых корней, бил Исток. Я не видела его. Не могла разглядеть. Но чувствовала: жизнь. Древнюю, светлую. Ту, что давала Древу силы. Ту, что держала его. Ту, что угасала вместе с ним.

— Это Пограничье, — сказал Киан. Голос был глухим. Без обычного холода. Только тяжесть. Только боль. — Мир, где растёт Древо. Где бьёт Исток. Где я живу.

— Ты не можешь туда попасть, — повторил он. — Пока. Но ты можешь видеть. Через меня. Через мою память. Через мою силу.

— Это… что? — Я не находила слов. — Это дерево? Просто дерево?

Он молчал. Смотрел на видение. Потом сказал:

— Древо. Держит. Всё.

Он не назвал слово. То самое. Но я почувствовала его. В его молчании. В его паузе. В том, как он отвёл взгляд.

— А Исток? — спросила я.

— Корень. Источник. Сила. Жизнь. Магия. — Он говорил коротко. Как будто каждое слово стоило ему чего-то. — Бьёт из земли. Из глубины. Из тьмы. Даёт Древу силу. Расти. Жить. Держать.

— Держать что?

— Всё.

Я посмотрела на видение. На голые ветви. На чёрные лианы. На один-единственный зелёный лист, который дрожал на ветру, цепляясь за ветку из последних сил. Зная, что скоро упадёт.

— А если оно умрёт? — спросила я. Тихо. Почти шёпотом.

Он не ответил. Отвёл взгляд. Посмотрел на лист. На лианы. На что-то, что я не видела. Но чувствовала. Свою вину. Древнюю. Как камень на дне реки.

— Тогда — пепел. Всё. И ты. И я. И оно.

Я хотела ему сказать о чем-то важном. Но горло сжало. Слова застряли. Как кость в горле.

— Я не дам, — сказала я. Голос сорвался, но я его выровняла. — Не дам ему умереть. Буду помнить. Всегда. Своей памятью, своей жизнью — чем придётся. Слышишь?

Он посмотрел на меня. Без улыбки. Без тепла. Без надежды. Просто смотрел. Словно перед ним была подделка. Копия, наспех вылепленная поверх знакомого лица. Того, кого он знал. Того, кого потерял.

— Слышу, — сказал он. Коротко. Пресекая.

И взмахнул рукой. Видение исчезло. Растворилось. Как дым. Будто его и не было.

— Киан.

Он не обернулся.

— Почему Древо угасает? Ты сказал — оно связано с тобой. Ты сказал — ты убиваешь его. Каждым прикосновением. Почему?

Он молчал. Пальцы в перчатках сжались в кулак, он боролся с собой. Потом разжались. Медленно. Как выдох. Как вздох. Как то, что он не хотел говорить.

— Я не выбирал этого. Но выбор сделали за меня. Давно. До тебя. До всего, — сказал он, и в его голосе впервые не было холода. Только глухая, сбитая с толку усталость. — Я не знал. Я не хотел, чтобы всё зашло так далеко. Но теперь… если я разожму пальцы, оно просто осыплется. Я держу. Своей смертью. Убиваю и держу одновременно. Потому что, если отпущу — никто. Больше никто.

— А я? Я то тут при чём?

Он бросил на меня взгляд — смесь задумчивости и плохо скрываемого раздражения. Золотые глаза под туманом на миг вспыхнули ярче — оценивая, взвешивая. Но в них не было ни привычного холода, ни отстранённой вечности. Только глухое раздражение — не человеческое, а то, с каким смотрят на муху, севшую на страницу. Досада. Помеха, что мешает думать.

— Ты помнишь — Древо живо. Ты светишь — листья держатся.

— А если я забуду?

Он не ответил. Сразу. Посмотрел на то место, где только что было видение. На пустоту.

— Я не знаю, как оно связано с тобой, — ровно произнёс он. — Ты — аномалия. Мёртвый камень не должен реагировать на тепло твоей ладони. Но пока твой разум ясен — Древо покорно. Погаснешь — цепь оборвётся. И всё, что она держит, тоже.

— Я не забуду, — сказала я. Твёрдо.

— Не обещай. Просто помни. Пока можешь.

Он замолчал. Отвернулся. К руинам. К багровому небу. К тьме. И я поняла: он скрывал цену. Ту, что не назвал. О которой не хотел говорить. Которая была важнее всего, что он сказал до этого.

— Киан. — Я шагнула ближе. Пыль скрипнула под ногами.

— Почему ты не говоришь мне то, о чем я должна знать?

Он обернулся. Медленно. Посмотрел на меня. Потом улыбнулся. Так, что у меня по спине пробежал холодок. Не тот, знакомый. Другой. Новый. Страшный.

— Потому что ты не готова, — сказал он. — Узнать больше.

— А когда буду готова? —Я почти кричала

— Когда выберешь — узнаешь. Всё. До конца.

— А если я не выберу?

Он посмотрел на меня. Улыбка стала шире. И от этой улыбки стало холоднее, чем от туман

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.